

Михаил Яснов

ОТЧАСТИ

* * *

Под говорок еврейского квартала,
где мир звучит гортанно и картаво,
под говорок цыганского квартала,
где всё на свете речь перемешала,
под говорок арабского квартала –
его-то нам как раз и не хватало! –
проходит жизнь под этот говорок,
порою смерть пуская на порог:
смерть безъязыка, но в любом квартале
её всегда и всюду понимали,
и перед ней склоняет микрофон
синхронный переводчик при ООН.

* * *

Всё, что было желанным, становится жёванным –
забывает гортань отцветающий пух.
И когда пожелают красавицу в жёны вам,
поглядите вокруг на окрестных старух.
Я и сам из породы набивших оскомину,
не другим – так себе, не в себе – так в другом,
и в попытках прожить эту жизнь по-достойному
забиваю гортань, как пустующий дом.

* * *

Покуда свято место не пустует,
не отдадим историю векам.
Россия спит. Германия бастует.
Пол-Франции сидит по кабакам.
Я пил, как все, – но был мой тост нестоящ.
Кричал, как все, – но не ступал за грань.
А сон страны, рождающий чудовищ,
проник мне в жабры и забил гортань.

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ В ТОЙЛЕ. ЭСТОНΙΑ

На могилах алфавита
дремлют буквы и растенья.
Спят кресты, надгробья, плиты,
спят неведомые тени.

Им теперь куда спокойней
под травой, уже несмятой,
тем, кого блазнили бойней
бесноватый и усатый.

Спят обугленные трубки,
дремлет прах – письмо ли, карта,
а под ними спят обрубки
давних войн Петра и Карла,

а под ними – просто бездна,
вся засыпана костями,
а под ними всё неизвестно,
прах да прах – черпай горстями.

Нет земли – одна могила,
все мы здесь родня и гости...

А кому-то хватит силы
стать травинкой на погосте.

* * *

Сначала немного вина,
потом разговоры о главном –
и эта шальная волна
весь ужас приносит стремглав нам.

Ты плачешь, ты губы кривишь,
горишь, как горит целлулоид.
Каких небывалых кровещ
душе эта музыка стоит?

И всё: не дышать и не жить,
и лишь в неизбежности лютой
губами лицо осушить,
как древнюю чашу с цикутой.

И больше не слушать, не сметь,
но слиться друг с другом, как паззлы,
покуда любовь, словно смерть,
готовит последние спазмы.

* * *

Один доживает до старости,
другой умирает в юности.
Остались одни печалести,
а были одни сумбурности.

А были одни весёлости,
но вот ведь как обернулось:
старость на дикой скорости
переехала юность.

Подите теперь проверьте:
юности нет, как не было,
а старость до самой смерти
платит за эти небыли.

* * *

О как мне доставалось!
О как меня вело!..
Страсть переходит в старость
посредством буквы О.

Ну что нам буквы дали,
зачем они дались?
Молчи, от них подале
скрывайся и таись.

ИЗ ДЕТСТВА

Ко мне старичок подошёл у дверей.
Спросил:
– Ты еврейчик?
Я тоже еврей!..
И грустный какой-то, неловкий,
погладил меня по головке.

За что, не пойму, он меня пожалел,
чужой старичок с бородою, как мел,
и в шляпе с большими полями –
живущий на пятом, над нами?

Я вышел из дома. Скамейки. Цветник.
Но шёл старичок, приподняв воротник,
и, словно споткнуться боялся,
всё время к стене прижимался.

* * *

Ну и досталась родня:
хлещут вино, как коня,
с гиком и посвистом! Я не
тот, что иные цыгане.

Сяду, в себя углублён,
тихо возьму поллитровку,
к рюмке подвешу лимон,
словно над дверью подковку.

* * *

Я не видел Берестова грустным –
я запомнил Берестова устным,
с песенкой да байкою о том,
как Чуковский спорил с Маршаком.

Что даётся детскому поэту?
Если повёзет – запомнить эту
заповедь, важней иных наук,
что в стихах всего дороже звук.

От того и не был он печален,
этот звонкий голос дяди Валин,
тенорок, переходящий в смех,
звук держал – за них, за нас, за всех!

* * *

Между временем и временем застрянув,
я внезапно ощущаю всей судьбой
сладкий запах облетающих платанов,
словно зябкую облатку под губой.

Ствол звенит, как будто сделан из металла,
и восходит ломкий шорох от земли:
то ли осень эти листья разметала,
то ли птицы их на крыльях разнесли.

И останутся у ветра на примете
эти символы привычной новизны:
изваяния лесного Джакометти –
корневища, утолщения, узлы.

Всё живое, всё действительно живое,
облетаю, улетаю и живу,
как ребёнок, зарываюсь головою,
зарываюсь в невозвратную листву.

* * *

Девочка, не знающая жалости
к телу, созидателю наград,
не кружись без удержу, пожалуйста,
не садись так бойко на канат.

Эти ножки, жаждущие зрелости, –
ты им не противься, не перечь.
Станешь ли, при всей своей умелости,
узеньких держательницей плеч?

Нет, не выйдет! Слишком ноша тяжкая
для таких напористых, как ты.
Вот и бьёшься безымянной пташкой
о тупые прутья пустоты.

* * *

Считаю поутру жучков и паучков,
пока окрестный мир туманами застелен.
Горошек разбросав, трещит поэт Стручков.
В античном забытии цветёт поэт Камелин.

Я фауной объят и флорой окружен,
ещё б живой воды – хоть капельку, хоть слово...
Но Рейн сошёл с ума – кричит: «Я – Донн! Я – Дон...»
И, русло изменив, спешит на зов Азова.

* * *

Что было предназначено,
назначено не мне.
Жизнь, начатая начерно,
кончается вчерне.

Рассыпались тетради, чьи
страницы – размело,
и только ты, не глядячи,
случилась набело.

Разобранные волосы,
в глазах темным-темно,
и снегом, словно с полюса,
лицо замечено,

растёгнутые пуговицы,
приспущенный чулок...
Нет, ни единой буковки
я б изменить не мог!

ЗАКЛИНАНИЕ

Усни на моём плече посреди зимы,
которую так давно торопили мы,
чтоб снег невидимкой сделал укромный дом –
усни поскорей, я счастлив твоим теплом.

Усни на моём плече посреди страны,
в которой мы все заложники той шпаны,
что напрочь забыла про детскую боль и грусть –
усни поскорей, я так за тебя боюсь.

Усни на моём плече посреди беды,
в которой мы так бесславны и так тверды,
что только вдвоём сумеем её прожить –
усни поскорей, нам утром опять тужить.

Усни на моём плече посреди любви,
которой так мало надо: одной любви,
любви при одной звезде, при одной свече –
усни поскорей, усни на моём плече.

* * *

Про древний Родос всё наврали карты,
но камень солон, а песок горяч,
и так ветрит, что если не Икар ты –
то крылья отстегни и тут же спрячь.

Куда лететь, куда нам плыть? Не знаю.
Всё это происходит не со мной.
Но жизнь прочна, как ниточка сквозная
между воздушным змеем и землёй.

* * *

Время отлежится, точно силос,
всё удобрит горечью своей.
Вдруг ты позвонишь мне, как грозилась,
и возникнешь около дверей?

Брошусь ли навстречу, расцелую,
сердцем чуя прожитый провал,
или разгляжу в тебе другую,
ту, что до сих пор ещё не знал?

И в преддверье будущей удачи –
или неудачи, кто решит? –
я сейчас сижусь один и плачу,
как ребёнок, горько и навзрыд.

* * *

Ну кто ещё решится на такое?
Пожалуй, только мы с тобой рискнём:
тебе чуть-чуть любви, а мне – покоя,
а воля остается за окном.

Я выгляну, а там, внизу, отчасти
распутица, отчасти – гололёд.
А впрочем, разговор идет о счастье.
– О чём, о чём?
– О том, что снег идёт.

* * *

Плоть отчасти, отчасти – душа,
что из нашего прошлого выйдет?
Оттого-то и жизнь хороша,
что границ между ними не видит.

Я невольно часы тороплю
и дневные мешаю с ночными.
Оттого-то тебя и люблю,
что не вижу границ между ними.

* * *

О чём кричите вы, старинные чернила?
Разлука – сблизила, а близость – разлучила.
Тоскою выцветшей заполнена тетрадь.
Разлука – сблизила. Но слов не разобрать.

А вот машинопись, уже давно слепая,
здесь жмутся буквы, друг на друга наступая,
и так издёрган шрифт, и так его знобит...
Разлука – сблизила. Но дальше текст забит.

А ты, мой верный друг, заложник лёгких клавиш,
какому будущему тень от нас оставишь?
Разлука – сблизила. Так в чём же тут беда?
А близость – разлучи...

Всё стерто навсегда.